

МЕЧТАТЕЛЬНИЦА ИЗ ОСТЕНДЕ

Мне кажется, я никогда не встречал человека с такой обманчивой внешностью, как у Эммы Ван А. В нашу первую встречу она произвела на меня впечатление болезненной, замкнутой женщины, блеклой, банально изъяснявшейся, — словом, вполне заурядной особы — отвернешься и тут же забудешь. Но вот однажды я коснулся ее подлинной сути, и с тех пор она постоянно тревожит мое воображение: эта интригующая, властная, блестящая, парадоксальная, неистощимая натура навечно поймала меня в сети своей обольстительности.

Некоторые женщины являют собой ловушки, в которые невозможно не угодить. Иногда из таких ловушек уже не суждено выбраться. Вот и Эмма Ван А. держит меня в надежном плену.

Это началось робким прохладным мартовским днем в Остенде.

Я всегда мечтал попасть в Остенде.

В путешествиях меня — прежде самих мест — манят их названия. Эти слова звучат в моих ушах далеким звонким набатом, чьи звуки, паря над колокольнями, разносятся на тысячи километров и рождают в душе удивительные образы.

Остенде...

Гласные и согласные намечают план, возводят стены, создают атмосферу. Носит ли селение имя какого-нибудь святого, моя фантазия тотчас же строит дома вокруг церкви; складываются ли буквы в

название леса — скажем, Буафор¹, — или полей — Шампиньи², — улочки заполняет пышная зелень; означают ли строительный материал — например, Пьерфон³, — я мысленно соскребаю штукатурку со стен замка, обнажая тесаные глыбы; напоминают ли о некоем чуде — взять хоть Дьёлёфи⁴, — мне представляется посад, воздвигнутый на крутизне, над равниной. В общем, подъезжая к очередному городу, я прежде всего встречаюсь с именем.

Я всегда мечтал попасть в Остенде.

Вероятно, я так и тешил бы себя пустой мечтой, сидя на месте, если бы разрыв с возлюбленной не побудил меня пуститься в странствия. Уехать! Бросить этот Париж, переполненный воспоминаниями о любви, которой больше нет! Сменить поскорей воздух, сменить климат...

Север казался мне спасительным выходом — там мы никогда не бывали вместе. Я развернул карту, и взгляд мой сразу притянули семь букв, начертанных на голубом фоне с надписью «Северное море», — «Остенде». Меня соблазнило не только его звучание — я вспомнил, что у одной моей знакомой есть адрес подходящего места в этом городе, где можно было бы остановиться. Несколько телефонных звонков, и все уладилось: жилье забронировано, вещи погружены в машину, и я взял курс на Остенде, спеша так, будто судьба моя ждала меня именно в этом городе.

Поскольку слово начиналось на «О» (словно рот, округленный удивлением) и продолжалось звуком

«с», напоминая о мягком сыпучем песке, оно предваряло мое восхищение гладким песчаным пляжем, бескрайним, бесконечным... Поскольку три следующие буквы — «тен» — ассоциировались у меня со словом «teint» (краска, оттенок), я представлял себе улицы в пастельных тонах, безмятежно дремлющие под ясным небосводом. И наконец, поскольку лингвистические корни подсказывали, что речь идет о городе, «который стоит лицом к западу», я приготовился увидеть домики окнами на море, обгаренные лучами заходящего солнца.

Однако, прибыв туда к ночи, я несколько растерялся. Если в каких-то отношениях реальный облик Остенде отвечал моим грезам об Остенде, то в других — жестоко противоречил им: это был самый что ни на есть обычный городишко в захолустье, во Фландрии, стоявший между гладью воды и гладью полей; он и впрямь мог похвастаться обширным пляжем и старинной дамбой, но все остальное ясно говорило о том, что бельгийцы, под тем предлогом, что нужно открыть для мира этот уголок, обезобразили его вконец. Целые кварталы жилых домов, гигантских, точно океанские лайнеры, безвкусных и безликих, но зато в полной мере отвечавших требованиям жилищной рентабельности, явили моему взгляду урбанистический хаос — результат алчности застройщиков, жаждущих вытянуть денежки у представителей среднего класса, проводивших здесь свои оплаченные отпуска.

К счастью, жилище, в котором я снял второй этаж,

было родом из XIX века: его возвели при Леопольде II, короле-строителе. Вполне типичное для своей эпохи, оно выглядело в нашем времени явлением исключительным. Эта одинокая вилла, затерянная среди современных многоэтажек — символов убогого геометрического воображения, примитивных параллелепипедов, разделенных на этажи, в свой черед разделенных на квартиры, которые слепо пялились на улицу тонированными стеклами уныло симметричных окон (от такой симметрии возникало отвращение к любой рациональности!), — свидетельствовала о четком архитектурном замысле своего создателя; весь свой долгий век она неторопливо прихорашивалась, то и дело меняя размеры и расположение входных отверстий, выдвигаясь вперед здесь в виде балкона, там в виде террасы или застекленной оранжерейки, дерзко решаясь на высокие, низкие, средние и даже угловые окна, более того, забавы ради — так кокетка вдруг из прихоти наклеивает себе мушку на лоб — пробивая круглое слуховое оконце под самым коньком черепичной крыши.

Женщина лет пятидесяти, рыжая, с широким багровым лицом, встала в проеме открытой двери.

— Тебе чего?

— Здесь живет госпожа Эмма Ван А.?

— Ага, здесь, — пробормотала она с грубоватым фламандским акцентом, вполне отвечавшим ее крестьянскому обличью.

— Я снял у вас на две недели второй этаж. Моя

знакомая из Брюсселя должна была вам сообщить...

— Ну да, верно! Мы тебя ждем! Пойду скажу тетке. А ты давайходи, пожалуйста,ходи. Она выхватила у меня чемоданы своими шершавыми ручищами, внесла их в переднюю и с неожиданной фамильярностью подтолкнула меня в сторону гостиной.

У окна виднелся силуэт хрупкой женщины, сидящей в инвалидном кресле, лицом к морю, чей темно-синий простор неразличимо сливался с таким же темным небом.

— Тетя Эмма, вот он, твой жилец.

Эмма Ван А. развернула свое кресло и взглянула на меня.

Другие на ее месте встрепенулись бы, встретили гостя любезным приветствием, стараясь понравиться, она же безмолвно, внимательно изучала меня. Очень бледная кожа, скорее увядшая, нежели сморщенная от старости, черные и седые пряди волос, образующие не седую, а именно контрастную, двухцветную шевелюру, узкое лицо на длинной тонкой шее — такова была Эмма Ван А. Чем объяснялось это молчание — почтенным возрастом, привычной манерой поведения? Ее голова клонилась к левому плечу, почти касаясь его ухом, отчего приподнятый подбородок был обращен вправо, и чудилось, будто она не только рассматривает меня искоса, но и вслушивается.

Пришлось мне заговорить первым:

— Здравствуйте, мадам, я очень рад, что вы

позволили мне остановиться у вас.

— Вы писатель?

Тут я разгадал смысл ее пристального взгляда: она пыталась определить, похож ли я внешне на человека, сочиняющего романы.

— Да.

Она ответила облегченным вздохом. Видимо, именно моя писательская профессия побудила ее открыть мне двери своего дома.

Племянница моей хозяйки поняла, что новоприбывший выдержал вступительный экзамен, и протрубила своим хриплым голосом: — Ладно, сейчас кончу убираться в комнатах, а ты погоди, через пять минут все будет готово.

Эмма Ван А. проводила удаляющуюся женщину взглядом, каким смотрят на верную, но глуповатую собаку.

— Извините ее, месье, моя племянница не умеет обращаться к людям на «вы». Видите ли, на нидерландском языке принято говорить только «ты».

— Ну что ж, было бы жаль лишить себя такого удовольствия и перейти с «ты» на «вы».

— А я полагаю, что приятнее всего пользоваться языком, в котором есть только «вы», разве нет?

Почему она так сказала? Неужели боялась, что я поведу себя слишком фамильярно? Я стоял, смущенно переминаясь с ноги на ногу. Она предложила мне сесть.

— Как интересно: я провожу свою жизнь среди книг, но никогда еще не встречала писателя.

Быстро оглядев комнату, я убедился в ее правоте: книжные полки гостиной были забиты тысячами томов, некоторые из них вторглись даже в столовую. Чтобы позволить мне лучше рассмотреть их, она проехала между шкафами в своем бесшумном, как тень, кресле на колесах и включила несколько мягко светивших ламп.

Ничто так не тешит мне душу, как вид типографской продукции, — тем не менее эта библиотека произвела на меня, сам не знаю отчего, тягостное впечатление. Все тома выглядели в высшей степени внушительно, все были бережно переплетены в кожу или холст, на обложках сверкали золотыми буквами имена авторов и названия; правда, книги стояли не по ранжиру, хотя никакого хаоса или нарочитой симметрии в их рядах тоже не наблюдалось, просто они, видимо, подчинялись некоему особому порядку, который свидетельствовал о неизменных вкусах их владелицы, и тем не менее... Неужто мы настолько свыкаемся с оригинальными изданиями, что заново переплетенная коллекция приводит нас в смущение? Или же меня огорчило то, что я не увидел здесь своих любимых обложек? Я даже не мог внятно сформулировать причину своей растерянности.

— Надеюсь, вы простите мне, что я не читала ваших романов, — сказала она, превратно истолковав мое недоумение.

— О, не стоит извинений. Никто не может прочитать все, что издается. Да я и не жду этого от

своих знакомых.

Успокоившись, она перестала теревить коралловый браслет на своем худеньком запястье и улыбнулась стенам, заставленным книгами.

— Однако я все свое время посвящаю чтению. Читаю и перечитываю. Да, главным образом, перечитываю. Очень многие книги. Согласитесь, настоящие шедевры открываются только с третьего или четвертого раза, не так ли?

— А по каким критериям вы распознаёте шедевр?

— Когда я не пропускаю одни и те же отрывки.

Она сняла с полки том в кожаном переплете гранатового цвета и с волнением приоткрыла его.

— Вот, например, «Одиссея». Я могу раскрыть ее на любой странице и наслаждаться чтением. А вы любите ли Гомера, месье?

— Н-ну... разумеется.

Ее взгляд слегка помрачнел, и я понял, что она сочла мой ответ легкомысленным, если не хвастливым. А потому поспешил развить свою мысль применительно к обстоятельствам.

— Я часто отождествлял себя с Улиссом, поскольку он проявляет больше хитрости, чем ума, не торопится с возвращением домой и, почитая Пенелопу, одновременно достаивает своим вниманием всех красивых женщин, встреченных в пути. Словом, он так мало добродетелен, этот Улисс, что я чувствую свою кровную близость с ним. И нахожу его вполне современным.

— Это любопытно — считать аморальность-

современным качеством, любопытно и... наивно. С каждым новым поколением молодые люди воображают, будто именно они изобрели порок, — что за самонадеянность! А какого рода книги пишете вы сами?

— Моего собственного. Они не укладываются ни в какие общепринятые жанры.

— Ну, прекрасно, — заключила она профессорским тоном, подтверждаящим, что это испытание я выдержал с честью.

— Вы позволите преподнести вам один из моих опусов?

— О!.. Вы привезли свои книги сюда?

— Нет, конечно. Но зато я уверен, что в книжных магазинах Остенде...

— Ах да... в книжных магазинах...

Она произнесла эти слова так, словно ей напомнили о чем-то давнем и прочно забытом. — Знаете, месье, ведь эта библиотека принадлежала моему отцу, он преподавал литературу. Я жила среди этих книг с самого детства, и у меня никогда не возникало надобности пополнить его собрание. Здесь есть несколько произведений, которые я до сих пор не успела прочесть. Да вот, к чему далеко ходить — как раз за вашей спиной стоят Жорж Санд, Диккенс... У них еще осталось несколько томов, которые ждут меня. И Виктор Гюго тоже.

— Знаете, что характерно для гения Виктора Гюго? То, что у Виктора Гюго всегда находится хотя бы одна не прочитанная вами страница.

— Верно. И это меня успокаивает: так приятно жить в безопасности, под охраной этих гигантов. Вот почему здесь и нет этих... новинок.

Она произнесла слово «новинки» после секундного колебания, выговорив его с брезгливым сожалением и понизив голос, словно имела в виду нечто вульгарное, почти непристойное. Слушая ее, я начал догадываться, что это слово означает для нее чисто коммерческое понятие, род модной поделки, весьма далекой от подлинного литературного произведения; мне стало ясно также, что в ее глазах я всего лишь автор «новинок», иными словами поставщик таких вот модных поделок.

— Да ведь романы Доде или Мопассана тоже были по выходе в свет «новинками», не правда ли? — спросил я.

— Но время определило их место в литературе! — ответила она так возмущенно, словно я изрек шокирующую глупость.

Я чувствовал сильное искушение сказать ей, что теперь она проявила наивность, однако не счел себя вправе перечить моей хозяйке; мне было достаточно того, что я установил наконец причину своего замешательства: этой библиотеке не хватало притока свежего воздуха, она застыла, превратилась в музей сорок или пятьдесят лет назад и рисковала остаться таковым до тех пор, пока ее владелица не решится на «новые вливания».

— Простите за нескромный вопрос, месье, вы одиноки?

— Я приехал сюда, чтобы утешиться после разрыва с...

— О, я сожалею... крайне сожалею... я причинила вам боль, напомнив об этом... простите меня, бога ради!

Ее горячее сочувствие, испуг, внезапное волнение подчеркивали ее искренность; видно было, что она действительно раскаивается в том, что вернула меня к печальным воспоминаниям. Она растерянно пролепетала: — Остенде самое подходящее место для тех, кто страдает от любовных ран...

— Неужели? Так, вы думаете, я здесь исцелюсь?

Нахмурившись, она пристально взглянула на меня:

— Исцелитесь? Значит, вы надеетесь исцелиться?

— Ну да, хочу, чтобы моя рана затянулась.

— И вы полагаете, что вам это удастся?

— Да, я так думаю.

— Очень странно, — прошептала она, пристально разглядывая меня, будто только сейчас увидела впервые.

Нижние ступени лестницы задрожали под грузными шагами племянницы, которая ворвалась в комнату, скрестила короткие руки на бесформенной груди и торжественно провозгласила: — Ну вот, можешь въезжать! Там наверху все комнаты твои. Какую захочешь, такую и выберешь. Пожалуйте, иди за мной.

— Герда вас проводит, господин писатель. С тех пор как у меня начались проблемы со здоровьем, я могу жить только на первом этаже. Это и позволяет

мне предоставить вам весь второй этаж, вам будет там удобно. Можете брать и читать любые книги, только с условием, что будете потом ставить их на место.

— Благодарю вас.

— Если вы просыпаетесь не слишком рано, Герда будет подавать вам завтрак.

— Меня бы устроило в половине десятого.

— Ну и прекрасно. Итак, спокойной ночи, месье, и — добро пожаловать в Остенде!

Сам не знаю, как меня осенило, но я угадал в Эмме Ван А. женщину, привыкшую, чтобы ей целовали руку. И оказался прав: едва я подошел к ней, как она протянула мне руку, над которой я склонился согласно правилам хорошего тона.

Племянница пялилась на нас, точно на пару клоунов; пожав плечами, она схватила мои чемоданы и потащила их наверх под скрип содрогавшейся деревянной полированной лестницы.

В тот момент, когда я выходил из гостиной, меня остановил голос Эммы Ван А.:

— Месье, я все думаю о том, что вы сказали... ну о том, что надеетесь на скорое исцеление. Пусть вас не удивляет моя реакция, это было одобрение. Я вам тоже этого желаю. Я была бы очень рада, если бы это случилось.

— Спасибо, мадам Ван А., я и сам был бы очень рад.

— Потому что если вы оправитесь от этого горя, значит, грош ему цена.

Я так и замер с разинутым ртом.

Она устремила на меня пронзительный взгляд и добавила непререкаемым тоном:

— От главной любви в жизни оправиться невозможно.

С этими словами она взялась за колеса своего кресла и в три секунды развернула его к окну, на то же место, где я застал ее, войдя в комнату.

Наверху я увидел интерьер, отделанный с уверенным, хотя и вычурным женским вкусом; он выглядел старомодным, но это только добавляло ему шарма.

Я обошел помещения и выбрал комнату с «голубыми синицами», названную так из-за стеной полотняной обивки с японскими мотивами, от ее блеклых оттенков веяло тонким очарованием. Раскладывая вещи, я вынужден был расчищать для них место среди многочисленных безделушек, но и эти излишества — например, затейливые изделия из ракушек — смотрелись здесь вполне уместно именно в силу их обилия.

Герда порекомендовала мне несколько ресторанов, вручила связку ключей и удалилась: ей еще предстояло проехать на велосипеде с десятков километров, отделявших виллу тетки от ее дома.

Я остановил выбор на ближайшем к вилле «Цирцея» ресторане, а пешую прогулку отложил на завтра. Опьянев от морского воздуха, я едва добрал до кровати и мгновенно забылся сном под тяжелыми стегаными перинами.

Утром, после обильного завтрака, принесенного Гердой и состоявшего из грибов, яиц, картофельных крокетов и прочей еды, я сошел вниз, и вид Эммы Ван А., сидевшей на своем посту у окна, уже не вызвал у меня никакого удивления.

Она не слышала, как я спускался по лестнице, и в безжалостном дневном свете, заливавшем гостиную, мне было нетрудно как следует разглядеть лицо моей хозяйки, определить ее манеру держаться.

Она ничего не делала, но при этом отнюдь не казалась праздною. В ее глазах непрерывно отражались самые разнообразные чувства, размышления то морщили, то разглаживали лоб, губы сжимались, словно удерживая готовый вырваться наружу поток слов. Переполненная бурной внутренней жизнью, Эмма Ван А. делила себя между раскрытым романом, лежавшим у нее на коленях, и грезами, захватывающими ее, когда она взглядывала на морскую бухту. Мне чудилось, будто передо мной идут параллельным курсом два корабля — корабль ее грез и корабль чтения; время от времени, когда она опускала веки, их пути на миг скрещивались, пенные шлейфы за кормой сливались воедино, а потом ее корабль снова уходил вдаль. Она читала лишь с одной целью — не пускаться в это плаванье в одиночку, читала не для того, чтобы заполнить духовную пустоту, но чтобы охладить чересчур бурную творческую фантазию. Литература служила ей родом кровопускания, помогавшего избежать лихорадки...

Эмма Ван А. была, наверное, очень красива даже в

старости. Однако недавнее кровоизлияние в мозг — или удар, как выразилась Герда, — превратило это царственное старение в жалкое угасание. Теперь мышцы ее одрябли, прежде хрупкое тело выглядело попросту тощим. Она казалась такой невесомой, что легко было представить ее истончившиеся, ломкие косточки. Изуродованные артрозом суставы делали ее движения неловкими, но она не обращала на это ни малейшего внимания — так ярко горел в ней внутренний огонь. А вот глаза сохранили былую красоту, они были прекрасны — огромные, ярко-голубые, отражавшие плывущие в небе облака с севера.

Мое приветствие вырвало ее из задумчивости, и она оторопело воззрилась на меня. В этот миг ее нетрудно было счесть помешанной. Но она тотчас улыбнулась настоящей, искренней, не лицемерной улыбкой, просиявшей, как солнечный лучик в серой океанской хмари.

— А, вот и вы, добрый день! Как вам спалось?

— Настолько хорошо, что ровно ничего не помню. Сегодня буду знакомиться с Остенде.

— Завидую вам... Что ж, приятного дня, месье.

Я бродил по Остенде много часов, стараясь углубляться во внутреннюю часть города минут на двадцать, не больше, и неизменно возвращаясь к приморскому бульвару или дамбе, — так чайку притягивает соленый воздух океанских просторов.

Северное море гаммой красок напоминало устрицу — зеленовато-коричневый цвет волн перетекал в

жемчужно-белую кипень на их гребнях; эти изменчивые оттенки, эта неуловимая игра переливчатых бликов исцеляли меня от ослепительных воспоминаний о средиземноморских пейзажах с их чистой голубизной и желтым песком, с ярким сочетанием красок, незамысловатым, как на детских рисунках. Здесь же приглушенные тона воды ассоциировались с йодистым привкусом даров моря, которые можно отведать в прибрежных пивных, да и само море казалось более соленым.

Хотя прежде я никогда не бывал в Остенде, на меня нахлынули воспоминания, и я позволил детским впечатлениям убаюкать свой взрослый разум. Закатав до коленей брюки, я прошлепал по колкому песку, а затем омыл ступни в мягкой воде. И, как в детстве, зашел в волны только чуть выше щиколотки, побаиваясь двинуться дальше. И, как в детстве, по чувствовал себя совсем крошечным под этим бескрайним небосводом, перед этими бесконечными грядами волн.

Народу вокруг было мало. Одни старики. Отчего пожилые люди так любят морское побережье? Не потому ли, что купальщики не имеют возраста? Ибо при этом они снова впадают в детскую беспомощность, возвращаются к простым уладам младенчества. Ибо если дома и торговые заведения непреложно свидетельствуют о скоротечном времени, то уж песок и волны всегда остаются нетронутыми, непорочными. Что такое пляж? — это волшебный сад, над которым не властно время.

Я купил себе креветок и стоя съел их, макая в пластиковую баночку с майонезом, а затем снова пустился бродить.

На виллу «Цирцея» я вернулся к шести часам-вечера, вконец одурманенный ветром, солнцем и грезами.

Эмма Ван А. обернулась ко мне, с улыбкой констатировала мое состояние восторженного опьянения и понимающе спросила:

— Ну что, понравился вам Остенде?

— Волшебное место!

— И далеко вы ушли?

— До самого порта. Хотя, знаете, честно говоря, я не смог бы осесть тут без надежды уплыть дальше.

— Ах так! Значит, вы остались бы здесь лишь при условии, что сможете уехать? Вот уж поистине мужское рассуждение.

— Вы верно угадали. Мужчины становятся моряками, а женщины...

— ...супругами моряков! Потом вдовами моряков.

— А чего же еще ждать, живя весь свой век близ порта, на краю земли?!

Оценив дерзкий задор моего восклицания, она молча, одобрительным взглядом поощрила меня к продолжению. Я и продолжал:

— Чего ждать, если не отплытия?

Она коротко пожала плечами, отмечая эту гипотезу:

— Тогда, значит, остается только возвращение?

Ее огромные голубые глаза впились в меня, и мне

почудилась в них глубокая скорбь, однако ее твердый голос опроверг мое предположение: — Воспоминания, месть, остаются воспоминания.

Вслед за чем ее взгляд снова обратился вдаль. И снова она мысленно улетела туда, где мне не было места; она созерцала морской простор, как я смотрел бы на чистый лист бумаги, готовясь запечатлеть на нем свои грезы.

О чем она вспоминала? Ни одна вещь под крышей этого дома не выдавала ее собственного прошлого: вся его обстановка — и книги, и мебель, и картины — была достоянием предыдущих поколений. Мне чудилось, будто она явилась в это фамильное гнездо подобно сороке-воровке — принесла в клюве украденное сокровище, сложила его тут и бережно хранит, разве только обновила занавеси да перекрасила стены.

Поднявшись наверх, я задал вопрос ее племяннице:

— Герда, ваша тетушка призналась мне, что проводит свои дни в воспоминаниях. Как вы думаете, о чем она вспоминает?

— Даже и не знаю. Работать она никогда не работала. И замужем не была, осталась в девках.

— Неужели?

— Да уж можешь мне поверить. Так и не спозналась ни с одним мужчиной, бедняжка моя тетя Эмма. Ни с одним. У нас в семье это доподлинно известно. Стоит заговорить о мужчине или о свадьбе, она сразу прячет голову, что твоя улитка в раковину.

— Может, у нее расстроилась помолвка? Или жених погиб на войне? И это событие она расценивает как трагедию своей жизни, лелеет как драгоценное воспоминание?

— Да какое там! В те времена, когда вся семья еще была в сборе, мои дядья и тетки много раз предлагали ей хорошие партии. И еще какие приличные были женихи! Но ты не поверишь, месье, она отказывала им всем подряд.

— Очень любопытно...

— И чего ради — чтобы коротать свой век в одиночестве? Нет, я бы так не смогла... Взять хоть моего мужика — не скажу, что он самый приглядный в наших краях, но, по крайности, он тут, у меня под боком, он наделал мне ребятишек. А прозябать вот так, как моя тетка, — да лучше повеситься!

— Но ведь она совсем не выглядит несчастной.

— Это верно, она ни на что не жалуется. Даже теперь, когда силенок у нее осталось совсем маловато, а сбережения растаяли, как масло на огне, она и на это не сетует, вот поди ж ты! Только сидит у окна, глядит на море, да улыбается, да мечтает. Если подумать, у нее в жизни ничего стоящего не было, зато уж в мечтах небось ого-го...

Герда была права. Эмма жила где-то далеко, не среди нас. Даже посадка ее головы, бессильно клонившейся вбок на хрупкой шее, создавала впечатление, что она не выдерживает тяжести грез.

Именно после этого разговора я и присвоил своей хозяйке прозвище Мечтательница... Мечтательница

из Остенде.

На следующий день она услышала, как я спускаюсь по лестнице, и подкатила ко мне в своем кресле.

— Не хотите ли выпить со мной кофе?

— С удовольствием, мадам.

— Герда, принеси нам две чашки, пожалуйста.

И она прошептала, стараясь, чтобы та не услышала:

— Герда варит такой жидкий кофе, что он даже младенца не взбодрит.

Герда поднесла нам две большие чашки с дымящейся жидкостью так гордо, словно наше желание поболтать за этим напитком воздавало должное ее кулинарным талантам.

— Мадам Ван А., я был поражен тем, что вы сказали мне в первый вечер.

— Что именно?

— Я быстро исцеляюсь от горестей, которые выгнали меня из Парижа; стало быть, разорвав эту связь, я не много потерял. Вспомните, вы тогда утверждали, что человек легко утешается, утратив что-то незначительное, зато никогда не оправится, лишившись главной любви своей жизни.

— Однажды я видела, как молния ударила в дерево. И я ощутила тесное родство с ним. Бывают мгновения, когда горишь, когда сжигаешь себя, и этот экстаз потрясает навечно. После него остается лишь пепел. — Она обернулась к морю. — Никогда еще обрубок дерева, даже свежеспиленного, не давал

жизнь новому стволу.

Меня вдруг пронзила мгновенная догадка: вот она-то, прикованная к своему креслу, и есть этот обрубок, прочно сидящий в земле...

— Мне кажется, вы имеете в виду себя, — мягко сказал я.

Она вздрогнула, у нее перехватило дыхание. Внезапное, почти паническое беспокойство сотрясло ее руки. Пытаясь скрыть смятение, она взялась за чашку, сделала глоток, обожгла губы и сердито выбрала горячий кофе.

Я сделал вид, будто поверил в ее уловку, и охладил кофе, подлив в чашку воды.

Дождавшись, когда она успокоится, я все же добавил:

— Поверьте, мадам Ван А., я не намерен вас расспрашивать, я уважаю вашу тайну и не стану допытываться, в чем она состоит.

Она перевела дух и испытующе посмотрела на меня, желая определить, насколько искренни мои слова; я храбро выдержал ее взгляд. Убедившись в том, что я не лукавлю, она наконец склонила голову и прошептала совсем другим тоном: — Благодарю.

Настал момент преподнести ей одну из моих книг, купленных накануне; я вытащил ее из заднего кармана брюк.

— Посмотрите, я принес вам свой роман, который считаю самым удачным. Я был бы счастлив, если бы вы нашли время прочесть его и высказали свое мнение.

Она испуганным движением прервала меня: — Мне... прочесть? Но... это невозможно...

И она прижала руку к сердцу.

— Поймите, я читаю одних только классиков. Я не читаю эти... эти...

— Новинки?

— Да, эти новые издания. Я жду.

— Вы ждете... чего же?

— Жду, когда репутация автора утвердится, когда его произведение сочтут достойным занять место в *настоящей* библиотеке, когда он сам...

— Вы хотели сказать: когда он сам умрет?

Эти слова вырвались у меня помимо воли. Я был ужасно обижен, что Эмма Ван А. отвергла мой подарок.

— Ну же, не стесняйтесь, скажите прямо: лучшие авторы — это умершие авторы! Что ж, будьте покойны, мне тоже рано или поздно придет конец. Однажды я подвергнусь этой процедуре освящения смертью, и на следующий день вы, может быть, прочтете мои книги! Отчего я пришел в такую ярость? Какое это имело значение — восхищается мной какая-то старая дева или нет? И почему я так стремился заинтересовать ее своей особой?

Она выпрямилась в кресле, попыталась как можно выше поднять голову и, даром что ей это не очень-то удалось, смерила меня надменным взглядом: — Не будьте так самонадеянны, месье. Ввиду моего возраста и непрерывных приступов мне суждено уйти из жизни раньше вас, довольно скоро. И кончина не

одарит меня никаким талантом. Как, впрочем, и вас.

Ее кресло сделало резкий разворот и проскользнуло между библиотечными шкафами.

— Как ни печально, но необходимо принять эту данность: нам с вами не по пути. — Она остановила кресло перед широким окном, выходящим на море. — Иногда людям, созданным для горения, не суждено испытать вместе, сообща, уготованную им великую-страсть, потому что один из них слишком молод, а второй слишком стар. — И она добавила упавшим голосом: — Очень жаль, мне бы хотелось вас прочесть...

Она была искренне огорчена. Странное дело — эта женщина перевернула все мои представления о жизни. Я подошел к ней.

— Мадам Ван А., я вел себя неприлично: позволил себе вспылить, по-дурацки преподнес этот подарочек, да еще так бесцеремонно навязывал его вам. Простите меня!

Она обернулась ко мне, и я увидел, что ее прежде сухие глаза полны слез.

— Поверьте, я была бы очень рада не прочесть, а проглотить вашу книгу, но... не могу.

— Почему же?

— Ну, представьте себе — вдруг она мне не понравится...

При одной этой мысли ее передернуло от ужаса. Ее бурное волнение умилило меня. Я ей улыбнулся.

Она ответила мне, также с улыбкой:

— Это было бы ужасно, ведь вы мне так

симпатичны.

— А в качестве плохого писателя я был бы вам менее симпатичен?

— Нет, но вы стали бы смешны. А я ценю литературу настолько высоко, что мне невыносимо было бы думать о вас как о посредственности.

Она была искренней до предела, сверх предела, все ее существо было пронизано этой убийственной искренностью.

А меня одолевал смех. Ну чего ради я мучаю нас обоих из-за нескольких страниц! И внезапно я подумал: как же мы с ней трогательны. — Ладно, давайте помиримся, мадам Ван А. Я забираю свой роман, поговорим о чем-нибудь другом.

— Нет, и это тоже невозможно.

— Что — невозможно?

— Говорить. Я не могу рассказать вам то, что хотела бы.

— А кто вам мешает?

Она беспомощно оглянулась, словно ища поддержки у окружающих ее книг, попыталась ответить, сдержалась, потом все-таки произнесла слабо, почти неслышно: — Я. — И повторила с огорченным вздохом: — Да, я сама...

Внезапно ее глаза встретились с моими, и она в отчаянном порыве бросила мне:

— Знаете, я ведь была молода, я была обворожительна.

Зачем она это говорила? Какая здесь была связь с предыдущим? Я растерянно пялился на нее.

Но она повторила, упрямо качая головой:

— Да, я была обворожительна. И любима!

— Я в этом уверен.

Она смерила меня разъяренным взглядом:

— Нет, вы мне не верите!

— Верю...

— А впрочем, все равно. Мне совершенно безразлично, что обо мне думают или думали. Больше того, мне это не только безразлично, но я сама стала причиной всех тех заблуждений, которые давали пищу для сплетен. Сама их провоцировала.

— А что же о вас говорили, мадам Ван А.?

— О... ничего определенного...

Наступила пауза.

— Ничего. Абсолютно ничего.

И она пожала плечами.

— Герда вам ничего не рассказывала?

— О чем?

— Об этом «ничего». Ведь родственники считают, что моя жизнь прошла впустую. Ну, признайтесь...

— Э-э-э...

— Вот видите, она и вам уже наболтала, что моя жизнь пуста. А ведь она была удивительно насыщенной, моя жизнь. И это «ничто» — чистая выдумка.

Я подошел к ней:

— Вы не хотите мне рассказать?

— Нет. Я обещала.

— Простите, не понял.

— Я обещала хранить тайну.

— Кому? И в чем?

— Ответить — значило бы частично выдать мою тайну...

Эта женщина сбивала меня с толку: под внешностью замшелой старой девы кипели бешеный, закаленный неуголимой яростью темперамент и отточенный ум, мечущий слова, точно кинжалы.

Она повернулась ко мне:

— Так вот, знайте, что я была любима. Мало кто был любим так, как я. И я любила сама. Так же страстно. Да, да, так же... если это возможно...

И ее глаза затуманились слезами.

Я положил руку ей на плечо, стараясь ободрить:

— Никому не возбраняется рассказывать историю любви.

— А мне нельзя. Потому что это затрагивает слишком важные персоны.

И она ударила кулаками по коленям, словно приказывала молчать кому-то, кто порывался заговорить.

— Кроме того, стоило ли всю жизнь хранить тайну, а теперь вдруг взять и раскрыть ее? К чему? Чтобы все мои многолетние усилия пропали втуне?

Ее узловатые пальцы вцепились в колеса инвалидного кресла, с неожиданной силой толкнули их, и она, покинув гостиную, заперлась в своей спальне.

Выйдя из виллы «Цирцея», я столкнулся на тротуаре с Гердой, которая сортировала мусор, перед

тем как разложить его по разным бакам.

— Вы уверены, что ваша тетушка так и не узнала страстной любви?

— Да я побожусь, что нет! Над ней частенько из-за этого подшучивали. Сам подумай — случись такое, она давным-давно выложила бы нам все, просто чтоб душу облегчить!

Она с оглушительным треском сплющила три пластиковые бутылки и скатала их в крошечные тугие комки.

— А вот я сильно сомневаюсь, Герда, есть у меня подозрение, что это не так.

— Ну вот, сразу видать, что ты зарабатываешь на жизнь дурацкими выдумками, ей-богу! Тоже мне напридумывал!

Ее короткие руки разорвали плотный картон легко, как папиросную бумагу. Внезапно она застыла, глядя на пару чаек, паривших над нашими головами.

— Ладно, коли уж ты стоишь на своем, я вспомнила про дядю Яна. Да, про него. Он очень любил тетю Эмму. И однажды сказал мне по секрету странную вещь: все мужчины, которые увивались за тетей Эммой, потом бежали от нее, как от чумной.

— Почему?

— Она их отпугивала, говорила всякие гадости.

— Она — и гадости?

— Так он мне сказал, дядя Ян. Да вы и сами видите: никто ее не захотел.

— Если разобраться в том, что сообщил вам дядя Ян, то скорее это она никого не захотела.

Озадаченная таким поворотом, племянница замолчала.

Я продолжал:

— Если она была так же требовательна к мужчинам, как к писателям, то понятно, отчего ни один из них не нашел у нее снисхождения. И раз уж ей не попадались мужчины на ее вкус, она делала все, чтобы отвадить других. Иными словами, ваша тетушка просто желала сохранить независимость!

— Может, и так, — неохотно согласилась племянница.

— И кто знает, не отталкивала ли она их потому, что хотела сохранить себя для единственного избранника, того, о котором никогда никому не рассказывала?

— Тетя Эмма? Чтоб тетя Эмма вела двойную жизнь? Эта бедалага?

И Герда скептически хмыкнула. Тетка интересовала ее лишь до тех пор, пока считалась «убогой»; она питала к ней покровительственную привязанность, смешанную с жалостью, если не с легким презрением, но стоило Герде заподозрить, что за поведением старухи кроется расчетливость или богатство, как она тотчас потеряла бы к ней всякий интерес. Тайны ее ничуть не волновали, а объяснения принимались только с условием, что будут просты и понятны. Герда принадлежала к числу людей, для которых понимать что-либо означает стоять обеими ногами на земле, а всякие романтические изыски — звук пустой.

Мне хотелось слоняться по Остенде весь день, однако капризный климат сократил мою прогулку. Мало того что задул противный холодный ветер, мешавший мне собраться с мыслями, — низкие темные тучи в конце концов пролились тяжелым холодным дождем.

Пару часов спустя я прибежал на виллу, чтобы укрыться от непогоды, но не успел переступить порог, как Герда бросилась ко мне с паническим криком: — Тетя в больнице, у ней сердце схватило!

Мне стало совестно за себя: когда я ушел от Эммы, она была так взвинчена, что это волнение, скорее всего, и вызвало сердечный приступ.

— Что говорят врачи?

— Я дожидалась тебя, чтобы поехать в больницу. Вот сейчас и отправлюсь.

— Хотите, я пойду с вами?

— Еще чего, ведь это она захворала, а не я. И потом, где ты возьмешь велосипед? Больница — это не ближний свет. Жди здесь, так оно будет лучше. Я скоро вернусь.

Воспользовавшись ее отсутствием, я обследовал гостиную. Мне хотелось заглушить тревогу, и я стал изучать содержимое книжных полок. Там стояли признанные классики мировой литературы, но были также собрания сочинений авторов, познавших короткий период славы, который сменился полным забвением со стороны читающей публики. Вид этих книг навел меня на размышления об эфемерности успеха, о преходящем характере любой известности.